

Культурная память, *trauma studies* и биополитика: КОНТЕКСТЫ ПОЛЕМИКИ

Игорь И. Кобылин, Федор В. Николаи

Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород, Россия

Резюме: В статье рассматривается полемика в современных американских, европейских и российских *cultural studies* о трансляции и разрывах культурной памяти; прослеживается влияние социально-политического и интеллектуального контекста на методологию и концептуальные установки исследователей.

Ключевые слова: культурная память, *trauma studies*, аффект, идентичность, биополитика.

В актуальных гуманитарных исследованиях в целом – и в современных *cultural studies* в частности – все больший интерес вызывает проблематика культурной памяти. В некоторых работах речь идет даже о формировании новой «мемориальной парадигмы» наук о культуре (Эксле, 2011; Васильев, 2008), а период 1990-2000 гг. часто называют «эрой памяти» (Suleiman, 2008 : 8) или временем «мемориального бума» (Assman, 2010 : 39; Winter, 2006 : 1-25). Хотя противники подобной генерализации говорят о «помешательстве», «мании», «эпидемии» и «мемориальной лихорадке» (Rosenfeld, 2009 : 123-

124; Kammen, 1991 : 3), большая часть академического сообщества в Европе и США признает огромный когнитивный потенциал этого спектра исследований. По словам Франсуа Артога, «последние 20 лет память рассматривается не просто как 'современное понятие', но как *понятие, производящее саму современность*» (Hartog, 2010 : 239).

Однако возникает вопрос – каковы те конкретные стратегии, что оказались объединены под общим именем «мемориальной парадигмы»? Не поддаваясь соблазну радикальной редукции, все же представляется возможным выделить в рамках *memory studies* два ключевых подхода. В Европе благодаря изысканиям Пьера Нора, Йорна Рюзена, Яна и Алейды Ассман культурная память рассматривается, прежде всего, как средство конструирования **национальной / социальной идентичности**. Акцент ставится на изучении **длительных исторических механизмов преемственности** – будь то в форме повторения, или в форме прогрессирующего варьирования («гиполеписа» в терминологии Я. Ассмана) – и, в итоге, на **опосредован-**

ный культурными формами *исторический опыт*, отнюдь не отменяющий традиционные методы работы с историческими источниками.

Для американских исследований – особенно после событий 9/11 – более важными оказались процессы *забвения и вытеснения, травматические разрывы* и лакуны памяти. Они дают свидетельства *непосредственного* опыта, который принадлежит не столько прошлому, сколько настоящему. Соответственно, внимание trauma studies привлекает, прежде всего, трагическая история *модерна*, порывающего с преемственностью и отказывающегося описывать себя через связи с традицией. Носителем или субъектом травмы выступают не столько нации, сколько группы и союзы нового типа – *«аффективные сообщества»* или *«сообщества траура»*. (О специфической ситуации в России см. ниже).

Конечно же, представленная оппозиция весьма условна. Обе стратегии вызваны к жизни понятным стремлением сообществ сплотиться вокруг опыта прошлого. Обе принципиально отличаются от традиционной модели историописания, делая ставку на вовлеченность исследователя (Young, 1995 : 10). Обе настаивают на подвижности границ между прошлым и настоящим, требующих постоянного переопределения и переописания.¹

Различие между ними во многом вызвано спецификой социально-политического и интеллектуального контекста функционирования дискурса памяти / травмы.

I. TRAUMA STUDIES В АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Впервые проблематика травмы стала широко обсуждаться – как в профессиональных кругах, так и в американском обществе в целом – в связи с войной во Вьетнаме и «вьетнамским синдромом», жертвами которого по разным оценкам стали от 300 тыс. до 1,5 млн. (т.е. от 10 до 60 %) ветеранов². Многие психиатры во главе с Р.Дж. Лифтоном в 1970-е гг. поддерживали ветеранов в поисках специфических форм артикуляции их военного опыта и социально-политической критике курса президента Р. Никсона. Среди прочего сторонники Лифтона добивались разработки новой психиатрической классификации DSM-III [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders], куда бы вошел термин «пост-вьетнамский синдром». При этом они как по прагматическим, так и по теоретическим соображениям активно сотрудничали с другими академическими и общественными группами реформаторов – сторонниками теории стресса М. Хоровица, исследователями Холокоста во главе с Г. Кристалом, феминистской критикой насилия в семье и представителями квир-стадиз. Итогом этой совместной работы и стало понятие «пост-травматическое стрессовое расстройство» (ПТСР), принятое в 1978 г. для характеристики широкого спектра симптомов и включенное в 1980 г. в окончательный вариант DSM-III (Young, 1995).

Важно подчеркнуть, что Лифтон и его единомышленники считали медицинский аспект лишь частью сложного комплекса проблем, включающего вопрос о политической и этической ответственности за войну; проблему влияния медиа на трансформацию памяти ветеранов; задачу институциональных реформ в психиатрии и т.д. Однако, начиная с этого момента, медиализация дискурса и преобладание психоаналитической терминологии стали родовой чертой полемики о травме / памяти в американских исследованиях культуры.

Преобладание *травмы* над *памятью* при этом оказалось во многом обусловлено политическим противостоянием: если правые республиканцы делали акцент на героизации войны во Вьетнаме и *памяти* о ней, то левые радикалы настаивали на признании *травмы* как ветеранов, так и всего американского общества. Обе стороны все более активно использовали логику «метонимии» или интериоризации. Речь идет о своего рода «присвоении» чужой памяти, то есть о механизме включения внешних по отношению к субъекту исторических событий в его персональный опыт, вплоть до готовности их телесного «переживания»³.

Своего пика эта медиализация достигла в сентябре 2001 г. После терактов 9/11 только в Нью-Йорке к государственным психотерапевтам обратились около 1,5 млн. человек. Для координации усилий специалистов была создана администрация по оказанию психотерапевтической помощи «Свобода», на финансирование которой были выделены сотни миллионов долларов. Кроме того, 7 млрд. составили выплаты жертвам терактов и их

семьям; еще 3 млрд. было собрано частными фондами (Seeley, 2008 : 73-74). Этот огромный социальный запрос и масштабная федеральная поддержка закрепили тенденцию к медиализации дискурса *trauma studies*, целью которых провозглашался теперь именно терапевтический, а не социально-политический эффект. Речь уже идет не об ответственности правительства за развязывание полномасштабных военных конфликтов, но лишь об отдельных людях, получивших психические травмы. Граждане – политически активные агенты, способные вырабатывать формы сопротивления насилию и социальной несправедливости – на глазах превращаются в потенциальных жертв, нуждающихся в терапевтической помощи. Культ виктимности, идущий рука об руку с фетишизацией безопасности, вписывает значительную часть исследований травмы в ту биополитическую парадигму, которая согласно М. Фуко и Дж. Агамбену является сегодня господствующей парадигмой власти.

Безусловно, социально-политический контекст не исчезает окончательно: «Медиализация событий 9/11 дала государству дополнительные средства организации субъективного опыта граждан» (Seeley, 2008 : 158). Но теперь медицинский дискурс *trauma studies* стал все более активно использоваться неоконсерваторами (как и позднее в отношении войны в Ираке и Афганистане). Говорить о динамике общественного мнения в США в 2000-е гг. и масштабах «иракского синдрома» можно пока лишь предварительно и с известной долей условности. Оценки распространения ПТСР среди ветеранов военных действий также существенно колеблются – от 13 до 20%, то есть от 300 до 500

тыс. человек (Hoge, 2004). Конечно же, эта тема требует отдельного глубокого разговора, но в контексте нашего анализа представляется важным отметить, что в большинстве медицинских центров усилились позиции новой генерации специалистов, дистанцирующихся от терапевтов старшего поколения (в большинстве своем сторонников Р.Дж. Лифтона). Если «шестидесятники» подчеркивали социально-политическую составляющую ПТСР, считали его почти неизлечимым и выступали против масштабного использования нейролептиков и антидепрессантов, то новое поколение перенесло акцент на невробиологию ПТСР и прагматическое снятие симптомов⁴. Психодиагностика и коллективные тренинги при этом отходят на задний план – их вытесняют поведенческая терапия, программы управления страхом и виртуальные симуляторы, призванные «исправить» память о прошлом. Более того, сам термин ПТСР используется теперь все реже – речь идет уже о polytrauma [нарушения в работе двух и более систем организма], post deployment stress [стрессе после демобилизации] и traumatic brain injury [мозговых нарушениях травматического происхождения]⁵. Таким образом, понятие травмы из орудия левой социально-политической критики стало средством нормализации военного опыта и памяти ветеранов.

Именно в этом контексте в 2000-е гг. в американских исследованиях культуры усиливаются голоса оппонентов и критиков trauma studies, ставящих под сомнение метонимию или «логику воплощения» – подстановку себя на место жертв ради получения доступа к опыту Другого во всем его драматическом избытке. Сторонники memory

studies, ориентированные на диалог с европейскими коллегами, настаивают на более тонких моделях репрезентации и указывают на важность идентичности сообществ.

Разумеется, в 2000-е гг. изменился и интеллектуальный контекст полемики⁶. Если в 1970-1980-е гг. ключевую роль в формировании trauma studies сыграли психоистория и деконструкция, то после «культурных войн» 1990-х гг. и всеобщего увлечения перформативом в 2000-е гг. интерес значительной части академического сообщества сместился в сторону «истории эмоций» и аффективного поворота (Plamper, 2010), иногда даже называемого «революцией» (Reddy, 2004 : ix-xi).

II. MEMORY STUDIES В ЕВРОПЕ: ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЯ ГРАНИЦЫ СООБЩЕСТВ

Как отмечают многие исследователи, «бум памяти» в Европе был изначально связан с проблемами интеграции Евросоюза (Fortunati, 2008; Huyssen, 1995; Langenohl, 2008). Трагическая история XX в. стала той основой, – тем 'usable past', которое подталкивало пересмотреть историзм XIX в., обращенный к «духу нации». Как справедливо отмечает А. Ассман, идея коллективной памяти при этом заняла место идеологий прошлого: «Показательно, что слово 'идеология' практически исчезло из современного дискурса после активного использования в 1960-1980-е гг. И одновременно понятие 'коллективной памяти' стало популярным, фактически заняв освободившееся место»⁷. Пик его популярности пришелся на рубеж 1980-1990-х гг., когда «бархатные революции», окончание холодной войны, объединение Герма-

нии, распад СССР и Югославии поставили проблему переосмысления не только физических и ментальных границ в Европе, но и самой темпоральности модерна (или его режима историчности). Как отмечает по этому поводу К. Лоренц, «Вслед за П. Нора и Ф. Артогом я считаю, что рост memory studies в 1980-е гг. связан с кризисом национальных историй [и историографий]. Это движение лучше всего рассматривать в терминологии перехода от 'модернистского' [modern] к 'презентистскому' режиму историчности» (Lorenz, 2010 : 70). Тот же тезис убедительно развивает А. Хьюсен: по его мнению, современный «бум памяти» – не просто симптом «конца века» и победы «постмодернизма», но проявление кризиса темпоральности эпохи модерна, когда все проекты новаций рассматривались как утопия, как некое исполнение прогрессистского завета. Будущее сегодня оказывается закрыто и нерепрезентируемо, поэтому оно «опрокидывается в прошлое» (Huysen, 1995 : 6-7).

Конечно же, столь масштабные изменения оказались итогом разного рода политических, интеллектуальных и повседневных практик. В частности, Джей Уинтер рассматривает современное увлечение памятью как отголосок первой мировой войны, вызвавшей кризис господствовавших ранее романтического и реалистического нарративов (Winter, 2000 : 8-11). Благодаря офицерам «потерянного поколения» война не только распространила дискурс памяти вширь, но и принципиально изменила его адресата: если в XIX в. преобладала «память нации», то после 1918 г. востребованной оказывается семейная и социальная память о павших солдатах⁸.

Безусловно, национальные различия сохранились и продолжают играть важную роль в memory studies⁹. Однако при всех различиях «субъективный» уровень памяти (в терминологии Я. Ассмана), к которому апеллируют американские trauma studies, гораздо менее интересуют европейских исследователей, чем уровень «социальный» или «культурный». Даже разрывы памяти интерпретируются скорее не в терминологии травмы, но как проявления «контрпамяти» или «забвения» [Connerton, 2009; Рикер, 2004].

III. ДИСКУССИИ О ТРАВМЕ И ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

В отличие от Европы и США интерес к memory studies в России сравнительно недавний – речь пока идет о рецепции американских и европейских теоретических моделей. Пожалуй, главным объектом общественного и профессионального интереса выступает советское наследие. И в этом поле проблема *разрыва/преемственности* становится наиболее болезненной, политически и идеологически нагруженной.

В работе «Back from Moscow, in the USSR», посвященной анализу жанра «возвращений из СССР», Ж. Деррида определил Советскую Россию – место паломничества западных интеллектуалов Р. Этьембля, В. Беньямина и А. Жида – как мифо-эсхатологическую «избранную родину», где рождается будущее всего человечества (Деррида, 1993). Однако если для главных героев книги Деррида поездка в чужую страну, на родину строящегося социализма являлась парадоксальным возвращением «к себе», то сегодня для нас,

жителей России, обращение к советскому прошлому скорее становится опытом разузнавания, опытом осознания дистанции, где сама ностальгия является симптомом «возвышенной» утраты. Советское прошлое действительно стало *прошлым*, полностью историзованное оно (на что указал Б. Гройс в «Коммунистическом постскрипту» (Гройс, 2007 : 122)) как раз и открывает возможность повторения или реапроприации. (Здесь уместно привести параллель со статусом античности в культуре Ренессанса в интерпретации Э. Панофского: вся риторика возрождения «римского и античного духа» стала возможной только тогда, когда античность перестала восприниматься как нечто сопричастное в современности). Соответственно, «советский мир» становится объектом различных стратегий переприсвоения.

Насущной задачей современных исследований является анализ теоретической, политико-идеологической и культурно-символической составляющих этих стратегий, в диапазоне от «высоких» философских и политологических спекуляций до масс-медийных техник репрезентации (и коммерческой эксплуатации) «советского». При этом особого внимания заслуживает система лакун и умолчаний в «фетишизированных нарративах» (термин Э. Сантнера) о коммунистическом прошлом, придающая им фантазматическую, маскирующую травму неуязвимость. Так, например, «хаос» 1990-х позволяет бесконечно эксплуатировать квазиимперскую риторику возрождения, мобилизационного единства, сплоченности и т.д. – с опорой на коммунистическую историю, но в той мере, в какой «советское» там оказалось спаянным с неким национальным архетипом, лишившись при этом своего «левого», освободительного потенциа-

ла. С другой стороны, логика «возвышенного» оправдания революционного и постреволюционного террора также создает «слепую зону», где ссылки на историческую необходимость («объективные законы истории»), парализуют любой критический дискурс.

В этом контексте тематизация западными исследователями травматического измерения истории и разработанный ими на ином эмпирическом материале аналитический инструментарий могли бы существенно расширить наши возможности при работе с собственным прошлым. Безусловно, речь идет не о простом заимствовании или копировании, а о теоретически продуктивном диалоге, в ходе которого и выясняются границы применимости таких понятий как «проработка», «эмпатия», «силовое поле» к насыщенной трагическими событиями советской/российской истории. Такой диалог, возможно, поможет нам избежать как «отрешенности» перед лицом происходящего, так и невротического повторения пройденного.

Трудности, возникающие при попытке продуманной артикуляции советского прошлого, возрастают вдвойне, когда речь заходит о не менее травматичной постсоветской истории.

Весьма показательным в этом плане представляется чеченская проблема, в частности явное игнорирование / забвение обществом ветеранов чеченских кампаний¹⁰. Историкам трудно говорить о войне в Чечне: все архивы закрыты, поэтому макро-историю конфликта написать пока невозможно. Однако существует огромное количество воспоминаний и частных свидетельств, которые вызывают интерес скорее у западных, чем у российских исследователей (Oushakine, 2009). Устная

история и «антропологический поворот» обходят стороной данную проблематику. Социологам не менее тяжело работать с ветеранами – они чаще всего отказываются контактировать (особенно это касается ветеранов специальных сил, принимавших наиболее активное участие в военных операциях). Многие ветераны до сих пор служат или работают в госструктурах и не могут говорить откровенно. Медикам (даже не связанным напрямую с МВД и министерством обороны) нелегко говорить о состоянии здоровья ветеранов и, в частности, распространении ПТСР, поскольку комбатанты часто скрывают симптомы, опасаясь проблем с трудоустройством и препятствий для своей карьеры¹¹ и т.д. Впрочем, на наш взгляд, молчание общества связано не столько с прагматическими, сколько с принципиальными (теоретическими) проблемами репрезентации войны в Чечне и памяти о ней ветеранов.

Начатый авторами данной статьи с весны 2013 г. проект¹² показывает, что при всей гетерогенности этого множества, ветераны *сами* не очень хотят говорить о прошлом, критически относятся к разным вариантам его позитивной репрезентации. Во многом этот критический запал связан с неотрефлексированным сопротивлением символическому кодированию образов прошлого: комбатанты, по их собственным словам, почти не говорят друг с другом о войне; крайне редко участвуют в каких-либо коммеморативных ритуалах; скептически относятся к деятельности всех ветеранских организаций; выражают недовольство многими общественными организациями и государственными институтами. Их отказ говорить отчасти напоминает «сбой нарратива» или «кризис свиде-

тельства», который в начале 1990-х гг. интересовал теоретиков trauma studies.

В то же время вряд ли оправдано вслед за Ш. Фелман говорить о *травме* ветеранов как абсолютном «падении репрезентации» (Felman, 1992) или о «голосе раны Другого», как делает это К. Карут (Caruth, 1996). Их позиция отличается от «верности ранам» Комитета солдатских матерей – специфического «сообщества траура» в интерпретации С. Ушакина (Ушакин, 2005 : 72). Речь и воспоминания ветеранов почти невозможно описывать во фрейдовской терминологии меланхолии и траура, проработки и отыгрывания. Их беспокойт скорее настоящее, по отношению к которому военное прошлое парадоксальным образом представляется идеалом человеческих отношений¹³. Ветераны выступают категорически против политики виктимизации¹⁴. Для них чрезмерно широкое распространение понятия ПТСР выступает орудием маргинализации, которой они всячески сопротивляются.

В качестве примера подобного сопротивления можно привести историю полковника ГРУ в отставке, ветерана Афганистана и обеих чеченских кампаний Александра С. Демобилизовавшись в 2001 г., он неожиданно для себя столкнулся с проблемами: пенсии не хватало для того, чтобы кормить семью; медики отказывались признать две его контузии «страховым случаем»; работодатели опасались брать полковника-«чеченца» на работу; ветеранские организации занимались бумажной отчетностью и не могли реально помочь. Александр пытался реформировать районную ветеранскую организацию; пробовал участвовать в выборах в областную Думу; хотел даже стать

православным военным капелланом. Эта социальная активность лишь отчасти была связана с «принципиальностью», выработанной на военной службе. В большей же степени она оказалась ответом на конкретные повседневные проблемы и невозможность самореализации. Неудачи по всем фронтам подтолкнули его к переходу в лютеранство (очень слабо распространенное в России) как «веру без посредников». Объяснять все усилия Александра на протяжении 12 лет как ностальгию и «отыгрывание» травматического опыта вряд ли оправдано: он действует вариативно, отказывается от невыполнимых задач и т.д.

На наш взгляд, психоаналитическая терминология в работе с такими свидетельствами проигрывает делезовскому языку, нацеленному на материальность работы смутных образов и аффектов. С этой точки зрения, ветераны представляют собой скорее гетерогенное множество или «магму» (наэлектризованную аффектом, а не эмоциями). Комментируя свою готовность вернуться на фронт, подавляющее большинство ветеранов признаются, как и Александр: «Это трудно объяснить». Часть комбатантов описывает это именно как психосоматическое влечение (Геннадий Б.: «Это в крови»; Александр М.: «Вам никто точно не скажет. Это в похуже на адреналин»; Алексей Р.: «У меня после первой командировки крыша съехала. Болел – хотелось вернуться...»). Другая часть ветеранов после первой реакции обращается к ценностному измерению, противопоставляя отношения между людьми «здесь» и «там». Но в обоих случаях очень важен именно первичный неотрефлексированный импульс, который лишь благодаря усилию интерпретации (символического кодирования) приобре-

тает некие формы – социальной критики или психосоматического влечения. Они имеют общее **аффективное** основание.

В заключении хотелось бы отметить, что приведенные здесь частные примеры, имеют, на наш взгляд, и универсальное измерение. Открываемая ими область аффективного ускользает как от «биополитической ловушки» медиализованных trauma studies, так и от «позитивных» социальных инициатив, чей вроде бы критический дискурс всякий раз присваивается и перекодируется властью. Ориентированные на проблему символической идентичности (национальной, социальной, религиозной, культурной) исследования памяти также не срабатывают в этом поле, поскольку смутные и слабые силы аффекта – «всегда-уже» опосредованные медийными и коммуникативными образами (образами банального и не-уникального) – не принадлежат сфере сознательных стратегий субъекта. Вернее здесь мы сталкиваемся с опытом коллективной субъективности без четкой идентичности, с неким массовым «мы», где отдельное «Я» претерпевает становление Другим, «любим», «каждым». Аффективное обладает тем странным избытком, что находится за пределами истины и лжи и не подчиняется логике суждений, иерархий и социально одобряемых предпочтений. И при этом оно способно объединять в сообщества тех, кто разделен социально, экономически, культурно, – в сообщества, где все связи выключены из цикла производство / потребление и господство / подчинение. Исследование этой неприсваиваемой зоны «общности-в-аффекте» или зоны «этической перцепции» (О. Аронсон), возможно, позволит нам выработать более гибкие и тонкие формы сопро-

тивления биополитическим манипуляциям, которые осуществляет современная власть.

ПРИМЕЧАНИЯ

- [1] Весьма показательным в этом плане представляется, например, название уже упоминавшегося сборника «Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe».
- [2] Спектр оценок распространения ПТСР [пост-травматического стрессового расстройства] среди ветеранов предельно широк: от 2 до 60%. (Нагорян, 2009 : 58) Национальный центр исследования ПТСР при Департаменте по делам ветеранов говорит о распространении ПТСР у 30,9% мужчин и 26,9% женщин, прошедших через Вьетнам (Scott, 2003 : 264).
- [3] Если по официальных данных военного министерства в США на начало 2012 г. было живо от 200 до 450 тысяч ветеранов этого конфликта, то по опросам общественного мнения называют себя ветеранами от 9,492,958 до 13,853,227 человек. Ряд левых исследователей объясняют это влиянием государственной пропаганды и визуальной политикой медиа-индустрии, которая производит огромное количество эмоционально насыщенных образов, «присваиваемых» аудитории. Д. Лембке утверждает, что Вьетнамской войне посвящено до 600 фильмов (от «Рэмбо» до «Охотника на Оленей» и «Фореста Гампа»), из которых 120 напрямую затрагивают проблему «вьетнамского синдрома» (Kellner, 1995; Lembcke, 1998).
- [4] Прагматизм терапии достигает своего пика в тотальном распространении фармакологических методов: 80% ветеранов Ирака и Афганистана получают SSRI [Selective Serotonin Reuptake Inhibitor]; используются и другие антидепрессанты, вплоть до «экстази» (Wedge, 2012).
- [5] Его этиологию связывают, в первую очередь, с физическими повреждениями и сотрясения мозга при взрывах, которые становились причиной 60% ранений американских солдат. Считается, что уровень ТВИ среди ветеранов Ирака и Афганистана достигает 22%, то есть превышает распространение ПТСР (Wojcik, 2010 : 109).
- [6] Охарактеризовать весь спектр гетерогенных дискуссий по устной истории, визуальным исследованиям, культурсоциологии и «антропологическому повороту» в рамках небольшой статьи просто невозможно, поэтому мы выделим лишь несколько ключевых вопросов, актуальных в интересующем контексте трансформации memory / trauma studies.
- [7] Далее А. Ассман поясняет, что речь идет не просто о терминологическом замещении, но о «принципиальном теоретическом повороте». Понятие идеологии предполагало ложность и конструируемость ментальных рамок, тогда как курс памяти работает как диспозитив – настаивает на продуктивности опыта и чувства идентичности (Assman, 2008 : 98).
- [8] «Она позволила обычным людям соотносить этот ключевой момент истории Британской империи [мировую войну] со своей собственной семейной историей» (Winter, 2006 : 178). Вторая мировая война еще раз изменила этот дискурс: в центре памяти теперь оказывался не солдат, но жертвы среди гражданского населения. «Жертвы нуждались в утешении – им нужно было научиться жить со своими воспоминаниями. Именно поэтому в исследованиях памяти сегодня существует такое обширное и гетерогенное терапевтическое сообщество. <...> Многие свидетели, жертвы войн и репрессий несут следы своих злоключений на подсознательном уровне. Многие психологи и деятели культуры называют эти раны ‘травмированной памятью’» (Winter, 2006 : 6).
- [9] Наиболее известным примером этих различий может стать полемика между Б. Андерсоном и П. Нора. С другой стороны, Алейда и Ян Ассман последовательно дистанцируются от британского акцента на «коллективную память» (Assman, 2010).
- [10] Весьма показательной в этом плане представляется замечательная работа В.А. Тишкова, основанная на свидетельствах и воспоминаниях чеченских беженцев и представителей боевиков, но не российских солдат (Тишков, 2001). Голоса солдат отсутствуют и в других исследованиях по этой проблеме (например, см.: Цветкова, 2007; Щеглова, 2012).
- [11] О проблемах такого рода говорят почти 80% опрошенных; 35% ветеранов утверждают, что непосредственно сталкивались с трудностями при трудоустройстве как «чеченцы».
- [12] Работа со свидетельствами ветеранов первой и второй чеченских кампаний является частью более широкого исследования отношений ветеранов и общества, включающего уточнение статистики, работу с ветеранскими организациями и государственными центрами реабилитации, соцопросы, исследование фотографий и литературы самого разного свойства.
- [13] Владимир Т. называет повседневность «быдлатником», говорит о «нехватке духовной свободы». «Здесь все разобщены, а

там ты нужен»; «там другие отношения – чувствуешь себя значимым».

- [14] Врач-психиатр Антон М., дважды побывавший в Чечне со спецназом внутренних войск, очень скептически относится к самому термину ПТСР: «Это крайне редкий диагноз: все симптомы полностью совпадают лишь в единичных случаях. Проблема здесь гораздо шире... Иногда даже приходится уговаривать людей, чтобы не делали инвалидность по психиатрии».

ССЫЛКИ

- [15] О. Г. Эксле, «История памяти – новая парадигма исторической науки» // *Историческая наука сегодня: теория, методы, перспективы* / Под ред. Л.П. Репиной. Москва: Издательство ЛКИ, 2011. С. 75-90.
- [16] А. Г. Васильев, «Современные memory-studies и трансформация классического наследия» // *Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории* / Под ред. Л.П. Репиной. Москва: Кругъ, 2008. С. 19-49.
- [17] S. R. Suleiman, *Crises of Memory and the Second World War*, Harvard University Press, 2008.
- [18] A. Assman, «Re-framing Memory: Between Individual and Collective Forms of Constructing the Past,” in *Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe*, Ed. by Karin Tilmans, Frank van Vree and Jay Winter. Amsterdam University Press, 2010. P. 35-50.
- [19] J. Winter, *Remembering War: The Great War between Memory and History in the Twentieth Century*. Yale University Press, 2006.
- [20] G. D. Rosenfeld, «Looming Crash or a Soft Landing? Forecasting the Future of the Memory Industry,” *The Journal of Modern History*. 2009. Vol. 81. P. 122-158.
- [21] M. Kammen, *The Mystic Chords of Memory: The Transformation of Tradition in American Culture*. New York, US: Knopf, 1991.
- [22] F. Hartog, «What is the Role of the Historian in an Increasingly Presentist World?» in *The New Ways of History. Developments in Historiography*, Ed. by G. Harlaftis, N. Karapidakis, K. Sbonias and V. Vaiopoulos. New York: Tauris Academic Studies, 2010. P. 239–251.
- [23] A. Young, *The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder*. Princeton, US: Princeton University Press, 1995.
- [24] P. Hagopian, *The Vietnam War in American Memory: Veterans, Memorials, and the Politics of Healing*. Amherst, US: University of Massachusetts Press, 2009.
- [25] W. J. Scott, *Vietnam Veterans since the War: The Politics of PTSD, Agent Orange, and the National Memorial*. Norman, US: University of Oklahoma Press, 2003.
- [26] D. Kellner, *Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Postmodern*. New York, US: Routledge, 1995.
- [27] J. Lembcke, *The Spitting Image: Myth, Memory, and the Legacy of Vietnam*. New York, US: New York University Press, 1998.
- [28] R. Wedge, *Treatment for posttraumatic stress disorder in military and veteran populations: Initial assessment*. Washington: The National Academies Press, 2012.
- [29] K. M. Seeley, *Therapy After Terror: 9/11, Psychotherapists, and Mental Health*. Cambridge University Press, 2008.
- [30] C. W. Hoge, C. A. Castro, S. C. Messer, D. McGurk, D. I. Cotting, R. L. Koffman, «Combat duty in Iraq and Afghanistan, mental health problems, and barriers to care,” in *New England Journal of Medicine*. 2004. Vol. 351. Iss. 1. P. 13-22.
- [31] B. E. Wojcik, C. R. Stein, K. Bagg, R. J. Humphrey, J. Orosco, «Traumatic Brain Injury Hospitalizations of U.S. Army Soldiers Deployed to Afghanistan and Iraq”, in *American Journal of Preventive Medicine*. 2010. Vol. 38. P. 108-116.
- [32] J. Plamper, «The History of Emotions: an Interview with William Reddy, Barbara Rosenwein, and Peter Stearns,” in *History and Theory*. 2010. Vol. 49. P. 237-265.
- [33] W. M. Reddy, *The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions*. Cambridge, U.S.: Cambridge University Press, 2004.
- [34] V. Fortunati, E. Lamberti, «Cultural Memory: A European Perspective,” in *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook*, ed. by Astrid Erll and Ansgar Nunning. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008. P. 127-140.
- [35] A. Langenohl, «Memory in Post-Authoritarian Societies,” in *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook*, ed. by Astrid Erll and Ansgar Nunning. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008. P. 163-172.
- [36] A. Huyssen, *Twilight Memories: Marking time in the Culture of Amnesia*. New York, US: Routledge, 1995.
- [37] A. Assman, «Canon and Archive,” in *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook*, ed. by Astrid Erll and Ansgar Nunning. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008. P. 97-108.
- [38] C. Lorenz, «Unstuck in Time: The Sudden Presence of the Past,” in *Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe*, ed. by Karin Tilmans, Frank van Vree and Jay Winter. Amsterdam University Press, 2010. P. 67-103.

- [39] J. Winter, "Shell-Shock and the Cultural History of the Great War," *Journal of Contemporary History*. 2000. Vol. 35. No. 1. P. 7-11.
- [40] A. Assman, "Re-framing Memory: Between Individual and Collective Forms of Constructing the Past," in *Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe*, ed. by Karin Tilmans, Frank van Vree and Jay Winter. Amsterdam University Press, 2010. P. 35-50.
- [41] P. Connerton, *How Modernity Forgets*. Cambridge University Press, 2009.
- [42] П. Рикер, *Память, история, забвение*. Москва: издательство гуманитарной литературы, 2004.
- [43] Ж. Деррида, *Жак Деррида в Москве*. Москва: РИК Культура, 1993.
- [44] Б. Гройс, *Коммунистический постскриптум*. Москва: Ad Marginem, 2007.
- [45] В. А. Тишков, *Общество в вооруженном конфликте (Этнография чеченской войны)*. Москва: Наука, 2001.
- [46] В. Ф. Цветкова, *Чеченский конфликт в отечественной периодической печати*. Автореферат дис. к.и.н. Санкт-Петербург, 2007.
- [47] Е. С. Щеглова, *Дискурс социальных последствий военного синдрома в современном медийном пространстве*. Автореферат дис. к.с.н. Саратов, 2012.
- [48] S. A. Oushakine, *The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia*. Ithaca, US: Cornell University Press, 2009.
- [49] S. Felman, D. Laub, *Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History*. New York: Routledge, 1992.
- [50] C. Caruth, *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History*. Baltimore, US: Johns Hopkins University Press, 1996.
- [51] С. Ушакин, "Человека с человеком сближает горе: солдатские матери и позитивизация утраты" // *Гендерные исследования*. 2005. № 2. С. 64-84.

